



## **В. А. ЗОРГЕНФРЕЙ**

### **Александр Александрович Блок**

(По памяти за пятнадцать лет: 1906—1921 гг.)

27 апреля этого года, во вторник, в редакции «Всемирной литературы», виделся я, как обычно, с А. А. Блоком и недолго с ним разговаривал; после того отвлекся другими разговорами и делами; но к концу дня, вернувшись домой, вспомнил опять Блока — хмурого в тот день, молчаливого, явно больного, и впервые за пятнадцать лет знакомства с А. А. подумал, что недостаточно его видеть и слышать — необходимо записывать впечатления виденного и слышанного. В тот же вечер я заполнил несколько страниц набросками воспоминаний о Блоке, наскоро и начерно, и приготовил тетрадь для дальнейших записей. Тетрадь эта осталась незаполненной. После 27 апреля увидел я Блока на столе, в комнате на Офицерской.

Раздумывая над неудачей своего замысла, я оправдываю себя и утешаюсь. Да, ценно для современников и для потомства каждое слово Блока, каждое его движение. Из этих слов и движений воссоздастся в веках — не живой облик гениального поэта, но хотя бы колеблемая отражениями жизни тень. Может быть, посчастливится сделать это, в сколько-нибудь полной мере, другим. Объяснение моей неудачи в той неизменной взволнованности, с которою я каждый раз, при разнообразных обстоятельствах, созерцал и слушал Блока. Сознанием его высоты был я проникнут с первой минуты, как его увидел, — и задолго до этой минуты. Но то необъяснимо волнующее и, при видимом спокойствии, страстное, что всегда было во взоре и в голосе А. А., нередко скрывало от меня формальный смысл его речей, всегда отрывочных и напряженных; волшебная прелесть его существа зачаровывала взор и внимание. Разговор с ним был — как разговор с тем, с тою, может быть, кого любишь:

чрезмерно напряженная восприимчивость улавливала каждый звук, каждое движение, но порядок звуков и движений, смысл их терялись; оставалось слитное впечатление переживаемой радости. И как любящему благоговейно и нежно не придет в мысль, в итоге богатого впечатлениями дня, воспроизвести, в форме точных записей, речи и поступки любимого человека, так не в силах был сделать этого и я.

Может быть, и для Блока, при всем несходстве его, по ритму души, с Гёте, найдется свой Эккерман; цель моих заметок — поведать, поскольку я в силах, о тех высоких впечатлениях, которые, обрываясь и возобновляясь, заполнили пятнадцать лет моей жизни — период личного знакомства с А. А. Воспоминания мои будут, по необходимости, отрывочны и неполны. Ничего не утрачено; ничего не забыто; но все так глубоко и тяжело запало в тайники сознания, что труд воспроизведения радостно пережитого мучителен и кажется, мгновениями, безнадежным.

---

В 1902 году вышел сборник стихотворений студентов С.-Петербургского университета под редакцией приват-доцента Б. Никольского<sup>1</sup>. В сборник, выгодно выделявшийся в ряду подобных изданий удачным подбором материала, вошли два стихотворения А. Блока — поэта, никому в то время не известного\*. В памяти моей эти стихотворения тогда же уместились прочно и навсегда, а неведомое имя «Блок» запомнилось и зазвучало волнующе. Стихи, подписанные этим именем и появлявшиеся в 1903 и 1904 годах в альманахах «Гриф», в «Новом пути» и в «Журнале для всех», входили в мое сознание воплощением томивших душу мою тайн; в созвездии поэтов благодатной эпохи начала XX столетия вспыхнуло новое светило — и зажглось своим особенным, небывалым и несравненным блеском. К тому времени, когда вышли «Стихи о Прекрасной Даме», у меня, наряду с страстным желанием увидеть, узнать автора книги, возникло и укрепилось чувство, которое я не могу назвать иначе как сомнением в подлинности его существования среди нас. Казалось, что человек, в его земном образе, не может быть создателем таких слов.

Много прошло времени, прежде чем увидел я Блока. Литературные мои знакомства были ограничены; потом, когда круг их

---

\* «Чем больней душе мятежной» и «Видно, дни золотые пришли».

расширился, Блок долгое время оставался за его пределами. Я не упускал случая узнать что-либо об Александре Александровиче; расспрашивал о нем всех, так или иначе к нему прикосновенных. Помню, В. С. Миролюбов, в то время редактор «Журнала для всех», исповедуя меня, по своей привычке, как начинающего автора, первый удовлетворил моей любознательности, сообщив мне, что А. А. «высок, широкоплеч, крепок здоровьем, женат и видимо счастлив». Вл. Пяст отзывался о Блоке в выражениях восторженных, но недостаточно определенных: преобладали эпитеты «прекрасный» и «божественный»<sup>2</sup>. Поэт А. А. Кондратьев<sup>3</sup>, человек терпеливый, общительный и изысканно-любезный, рисовал более точные образы: помнится, он сравнивал очертания лица Блока с профилями на древних монетах, изображающих диадохов — преемников Александра Великого. С. Городецкий давал порывистые реплики, не будучи в силах сосредоточиться хотя бы на секунду, но именно он познакомил меня впоследствии с А. А.

Просматривая свой «архив» за 1905—1906 годы, я нахожу следы пережитых волнений. Дружеские приглашения поэтов неизменно сопровождаются упоминаниями о Блоке — и упоминаниями неутешительными. «Хотя Блок у меня завтра не будет, зайдите ко мне»; «Блока не будет — он всецело поглощен экзаменами» и т. п. И, наконец, записка от Городецкого: «Будет Блок и еще несколько человек».

Поздней весной 1906 года, к вечеру светлого воскресного дня, приехал я в Лесной, на дачу к С. Городецкому (Новосильцовская ул., 5)<sup>4</sup>. Из собравшихся помню, кроме хозяев, А. М. Ремизова, К. А. Эрберга, П. П. Потемкина. Едва уселись за стол на балконе, как появился запоздавший несколько А. А. Первое впечатление — необычайной светлости и твердости — осталось навсегда и в течение долгого, немеркнувшего весеннего петербургского дня пополнилось новыми, радостными впечатлениями. Таким, конечно, должен был быть А. А.; таким только и мог он быть...

Описывать чью бы то ни было наружность — трудная задача; описать наружность Блока — труд ответственный и, чувствую, для меня непосильный. Между тем с каждого из видевших Блока спросится. Портреты и фотографические снимки не удовлетворят потомков, как нас не удовлетворяют изображения Пушкина, — мы ищем живых свидетельств в записках современников, записках скудных и неопределенных, и до сих пор работою воображения пополняем недочеты изобразительных средств того времени.

В наружности всякого человека есть нечто текучее, непрестанно образуемое. Только безнадежно мертвые духом обладают установившейся, легко поддающейся определению внешностью. «Мертвые души» Гоголя — благодарный материал для художников даже недаровитых. Чем напряженнее и богаче духовная жизнь, тем больше в облике человека колебаний света и теней, тем неуловимее переходы от духа к материи, тем разнообразнее его видимые явления. И притом, по необычайно меткому выражению В. В. Розанова; человек бывает сам собою лишь в редкие минуты, когда он обретается «в фокусе» своего я<sup>5</sup>.

Прошло более пятнадцати лет с того дня, как увидел я впервые Александра Александровича; образы живого Блока встают в моей памяти, надвигаясь друг на друга, затуманиваясь мгновениями и озаряясь потом волшебным светом. Черты внешнего величия пребывают неизменно; но тон, окраска, даже протяженность форм, соотношение линий — меняются в игре душевных сил.

В тот весенний день увидел я человека роста значительно выше среднего; я сказал бы: высокого роста, если бы не широкие плечи и не крепкая грудь атлета. Гордо, свободно и легко поднятая голова, стройный стан, легкая и твердая поступь. Лицо, озаренное из глубины светом бледно-зеленоватых, с оттенком северного неба, глаз. Волосы слегка вьющиеся, не длинные и не короткие, светло-орехового оттенка. Под ними — лоб широкий и смуглый, как бы опаленный заревом мысли, с поперечной линией, идущей посередине. Нос прямой, крупный, несколько удлиненный. Очертания рта твердые и нежные — и в уголках его едва заметные в то время складки. Взгляд спокойный и внимательный, остро и глубоко западающий в душу. В матовой окраске лица, как бы изваянного из воска, странное в гармоничности своей сочетание юношеской свежести с какой-то изначальной древностью. Такие глаза, такие лики, страстно-бесстрастные, — на древних иконах; такие профили, прямые и четкие, — на уцелевших медалях античной эпохи. В сочетании прекрасного лица со статною фигурой, облеченной в будничный наряд современности — темный пиджачный костюм с черным бантом под стоячим воротником, — что-то, говорящее о нерусском севере, может быть — о холодной и таинственной Скандинавии. Таковы, по внешнему облику, в представлении нашем, молодые пасторы Христиании или Стокгольма; таким, в дни подъема и твердости душевных сил, являлся окружающим Йёста Берлинг<sup>6</sup>, вдохновенный артист, «обольститель северных дев и певец скандинавских сказаний»<sup>7</sup>.

Конечно, я не запомнил в точности разговоров того вечера. Беседа велась в буднично-шутливом тоне; темою служили по преимуществу события текущей литературно-художественной жизни. Сидя над тарелкой с холодным мясом, А. А. спокойно и внимательно прислушивался к перекрестным застольным разговорам и лишь изредка давал ответы на порывистые замечания Городецкого, толковавшего о сборнике «Факелы» и тут же, при помощи нескольких спичек, изображавшего эти факелы в натуре. Кажется, в эти дни А. А. покончил с государственными экзаменами и не без удовольствия сообщил, что продал свое студенческое пальто. Из высказанного им помню, что на чей-то вопрос — кого он более ценит как поэта, Бальмонта или Брюсова, А. А. ответил, не колеблясь, что — Бальмонта.

Встав из-за стола, пошли в парк и долго бродили в окрестностях Лесного, руководимые Городецким. Весеннее, несколько приподнятое настроение владело всеми. Городецкий проявлял его бегом и прыжками, умудряясь на ходу цитировать и пародировать множество стихов, своих и чужих; А. М. Ремизов подшучивал над Эрбергом, именуя его «человеком в очках»<sup>8</sup> и утверждая, что он впервые видит деревья и траву и крайне всему этому удивляется; Блок мягко улыбался, храня обычную неторопливость движений и внимательно ко всему прислушиваясь. Встретив на дорожке преграду в виде невысокого барьера, Городецкий через него перепрыгнул и предложил то же сделать другим; кое-кто попытался, но Блок, помню, обошел барьер спокойно и неторопливо.

Вернувшись, уселись в круг и принялись за чтение стихов. Та пора — 1906 год — была порою расцвета поэтической школы, душой которой и тогда уже был Блок, а главою которой был признан много лет спустя. Каждый день дарил поэзию новыми радостями, и роскошество ее стало для нас явлением привычным. Но, даже избалованные обилием красоты, внимали мы в тот вечер с наново напряженным благоговением Блоку, прочитавшему три свои недавние, никому из нас не известные стихотворения: «Нет имени тебе, мой дальний», «Утихает светлый ветер» и «Незнакомка».

Я впервые слышал Блока; впервые к магии его слов присоединилась для меня прелесть голоса, глубокого, внятного, страстно-приглушенного. Тысячи людей слышали за последние годы, как говорит и читает Блок; они, конечно, не забудут. Но что останется другим, тем, кто от нас узнает имя Блока? Свистящая граммофонная пластинка, передающая произведенную в 1920 году запись голоса А. А., — прослушав которую он, по

словам очевидцев, помолчал и сказал потом: «Тяжелое впечатление...»<sup>9</sup>

Охарактеризовать чтение Блока так же трудно, как описать его наружность. Простота — отличительное свойство этого чтения. Простота — в полном отсутствии каких бы то ни было жестов, игры лица, повышений и понижений тона. И простота — как явственный, звуковой итог бесконечно сложной, бездонно глубокой жизни, тут же, в процессе чтения стихов, создаваемой и утверждающейся. Ни декламации, ни поэтичности, ни ударного пафоса отдельных слов и движений. Ничего условно-актерского, эстрадного. Каждое слово, каждый звук окрашены только изнутри, из глубины наново переживающей души. В тесном дружеском кругу, в случайном собрании поэтов, с эстрады концертного зала читал Блок одинаково, просто и внятно обращаясь к каждому из слушателей — и всех очаровывая.

Так было и в тот памятный день. Названные мною три стихотворения — и «Незнакомка» по преимуществу — были началом, сердцем новой эры его творчества; из них вышла «Нечаянная Радость». Помню, «Незнакомка», недавно написанная и прослушанная нами весенним вечером, в обстановке «загородных дач», после долгой прогулки по пыльным улицам Лесного, произвела на всех мучительно-тревожное и радостное впечатление, и Блок, по просьбе нашей, читал эти стихи вновь и вновь.

Вслед за тем читали другие; но из прослушанного ничего не запомнилось, да и слушать не хотелось. Настроение, приподнятое вначале, улеглось; разговоры повелись шепотом. А. А. с обычной готовностью записал кое-кому стихи в альбомы и с улыбкою подошел ко мне — благодарить за только что присланные стихи, ему посвященные<sup>10</sup>. Стихи были слабые, и я чувствовал себя до крайности смущенным; не останавливаясь на них, А. А. перешел к прочитанным мною в тот вечер стихотворениям. Несколько слов его, как всегда неожиданных и внешне смутных, были для меня живым свидетельством его пристального внимания. Просто, — и я это ясно понял, — но в формах обычной литературской общительности А. А. пригласил меня навестить его; тогда же мы условились о дне встречи, и А. А. сделал то, что часто делал и в дальнейшем и что каждый раз внушающе на меня действовало; вынул записную книжку небольшого размера и пометил в ней день и час предполагаемого свидания. Черта аккуратности — эта далеко не последняя черта в сложном характере Блока — впервые открылась мне.

В том году Блок переехал с квартиры в Гренадерских казармах на другую — кажется, Лахтинская, 3. Там побывал я у него впервые. Помню большую, слабо освещенную настольною электрическою лампой комнату. Множество книг на полках и по стенам, и за ширмой невидная кровать. На книжном шкафу, почти во мраке — фантастическая, с длинным клювом птица. Образ Спасителя в углу — тот, что и всегда, до конца дней, был с Блоком. Тишина, какое-то тонкое, неуловимое в простоте источников изящество. И у стола — хозяин, навсегда мне отныне милый. Прекрасное, бледное в полумраке лицо; широкий, мягкий отложной белый воротник и свободно сидящая суконная черная блуза — черта невинного эстетизма, сохраняемая исключительно в пределах домашней обстановки. Таким изображен он на известном фотографическом снимке того времени; таким я видел его не раз и в дальнейшем; но, насколько знаю, никогда не появлялся он в этом наряде вне дома. В кругу приятелей-поэтов, в театре, на улице был он одет, как все, в пиджачный костюм или в сюртук. И лишь иногда пышный черный бант вместо галстука заявлял о его принадлежности к художественному миру. В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней эстетической черты и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить папиросы обыкновенные.

Правда, внешнее изящество — в покрое платья, в подборе мелочей туалета — сохранил он на всю жизнь. Костюмы сидели на нем безукоризненно и шились, по-видимому, первоклассным портным. Перчатки, шляпа «от Вотье». Но, убежден, впечатление изящества усиливалось во много крат неизменной и непостижимой аккуратностью, присущей А. А. Ремесло поэта не наложило на него печати. Никогда — даже в последние трудные годы — ни пылинки на свежевыутюженном костюме, ни складки на пальто, вешаемом дома не иначе как на расправку. Ботинки во всякое время начищены; белье безукоризненной чистоты; лицо побрито, и невозможно его представить иным (иным оно предстало после болезни, в гробу).

В последние годы, покорный стилю эпохи и физической необходимости, одевался Блок иначе. Видели его в высоких сапогах, зимою в валенках, в белом свитере. Но и тут выделялся он над толпой подчинившихся обстоятельствам собратий. Обыкновенные сапоги казались на стройных и крепких ногах ботфортами; белая вязаная куртка рождала представление о снегах Скандинавии.

Возвращаюсь к вечеру на Лахтинской, к полумраку рабочей комнаты, где, в просторной черной блузе, Блок предстал мне стройным и прекрасным юношей итальянского Возрождения. Беседа велась на темы литературные по преимуществу, если можно назвать беседой обмен трепетных вопросов и замечаний с моей стороны и прерывистых, напряженно чувствуемых реплик А. А., идущих как бы из далекой глубины, не сразу находящих себе словесное выражение. Неожиданным, поначалу, показалось мне спокойное и вдумчивое отношение А. А. к лицам и явлениям поэтического мира, выходявшим далеко за пределы родственных ему течений. Школа, которой духовным средоточием был он, не имела в нем слепого поборника — мыслью он обнимал все живое в мире творчества и суждения свои высказывал в форме необычайно мягкой, близкой к неуверенности. О себе самом, невзирая на наводящие мои вопросы, почти не говорил, но много и подробно расспрашивал обо мне и слушал мои стихи; не проявляя условной любезности хозяина или величавой снисходительности маэстро, ограничивался замечаниями относительно частностей или же просто и коротко, но чрезвычайно убежденно говорил, правдиво глядя в глаза: «нравится» или «вот это не нравится». Так, насколько я заметил, поступал он в отношении всех.

Когда я уходил, за стеною кабинета, в смежной квартире, раздавалось негромкое пение; на мой вопрос — не тревожит ли его такое соседство, А. А., улыбаясь, ответил, что живут какие-то простые люди и чей-то голос поет по вечерам: «Десять любила, девять разлюбила, одного лишь забыть не могу» — и что это очень приятно. Еще одна черта блоковского гения открылась мне, прежде чем певец Прекрасной Дамы, Незнакомки и Мэри сказался по-новому в стихах о России.

---

После того виделся я с Блоком часто. С Петербургской стороны переехал он на Галерную улицу и несколько лет жил там; в доме № 41, кв. 4. От ряда посещений — всегда по вечерам — сохранилось у меня общее впечатление тихой и уютной торжественности. Квартира в три-четыре комнаты, обыкновенная средняя петербургская квартира «с окнами во двор»<sup>11</sup>. Ничего обстановочного, ничего тяжеловесно-изящного. Кабинет (и в то же время спальня А. А.) лишен обычных аксессуаров обстановки, в которой «живет и работает» видный писатель. Ни массивного письменного стола, ни пышных портьер, ни музейной об-



становки. Две-три гравюры по стенам, и в шкапах и на полках книги в совершеннейшем порядке. На рабочем столе ничего лишнего. Столовая небольшая, почти тесная, без буфетных роскошеств. Мебель не поражает стильностью. И в атмосфере чистоты, легкости, свободы — он, Александр Блок, тот, кто вчера создал, может быть, непостижимые, таинственные строки и кто сегодня улыбается нежной улыбкой, пристально глядя вам в глаза, в чьих устах ваше примелькавшееся вам имя звучит по-новому, уверенно и значительно. Вечер проходит в беседе неторопливой и — какова бы ни была тема — радостно-волнующей. Отдельные слова, как бы добываемые, для большей убедительности, откуда-то из глубины, порою смутны, но неизменно точны и выразительны.

По собственному почину или, может быть, угадывая мое желание, А. А. читает последние свои стихи и — странно — очень интересуется мнением о них. Выражение сочувствия его радуется, а замечаниям, редким и робким, он противопоставляет, по-детски искренно, ряд объяснений. Бурные общественно-политические события того времени своеобразно преломляются в душе А. А. и находят себе, в беседе, особое, звуковое, внешне искаженное выражение. Чувствуются настороженность и замкнутость художника, оберегающего свой мир от вторжения враждебных его целям стихий. С наивным изумлением узнает А. А., что я не только пишу стихи, но и временами вплотную подхожу к общественной жизни и пытаюсь принять в ней участие. Об обстоятельствах обыденных расспрашивает он меня с опасливым любопытством человека из другого мира. О себе говорит мало. Ни самодовольства, ни самоуверенности в человеке, чье имя уже звучит как слава, чья личность окружена постепенно нарастающим культом.

Переходим в столовую и пьем чай. Молчаливо присутствует Любовь Дмитриевна, жена А. А. Большой любитель чаепития, А. А. совершает этот обряд истово и неторопливо. Курит, с глубоким вздохом затягиваясь. В изгибе крупных пальцев, крепко сжимающих папиросу, затаенная, сдержанная страсть.

Прощаюсь — и заранее знаю, что в последний миг встречу глубокий, чистый и пристальный взор, как бы договаривающий недоговоренное.

---

Тогда, в 1906 году, начал встречаться с Блоком и у общих наших знакомых — на вечерах у гостеприимного А. А. Кондра-

тьева, патетического Пяста, на «средах» у Вячеслава Иванова. А. А., покончивший только что с государственными экзаменами, вновь стал доступен дружеской среде. Помню его здоровым, крепким, светло улыбающимся — как входит он, с тревожной надеждой ожидаемый многими, держа руку с отставленным слегка локтем в кармане пиджака, с поднятою высоко головою. В кругу тех, кого он называл друзьями, был он признан и почтительно вознесен; но ни с кем не переходя на короткую ногу, не впадая в сколько-нибудь фамильярный тон, оставался неизменно скромнен и прост и ко всем благожелателен. Деликатный и внимательный, одаренный к тому же поразительной памятью, никогда не забывал он, однажды узнав, имени и отчества даже случайных знакомых, выгодно отличаясь этим от рассеянных маэстро, имя которым легион. Молчаливый в общем, ни на секунду не уходил в обществе в себя и не впадал в задумчивость. Принимая, наряду с другими, участие в беседе, избегал споров; в каждый момент готов был разделить общее веселье. На вечере у Пяста слушал, сочувственно улыбаясь, пародии Потемкина на себя, на А. Белого, на Вячеслава Иванова; принял потом, как и все, участие в неизменных буримэ и, чуждый притязаний на остроумие, писал на бумажке незамысловатые слова. Так, сидя рядом со мной и получив от меня начало:

Близятся выборы в Думу,  
Граждане, к урнам спешите, —

продолжил он приблизительно в таком роде:

Держите, ловите свирепую пуму,  
Ловите, ловите, держите!<sup>12</sup>

Еще не так давно, в минувшем 1920 году, придя на собрание Союза поэтов, уставший и измученный, играл он, вместе со многими, ему далекими и чуждыми, в ту же игру — и не стеснялся, конечно, приза<sup>13</sup>.

«Чуждый притязаний на остроумие», — написал я выше. Можно сказать больше. Остроумие, как таковое, как одно из качеств, украшающих обыденного человека, вовсе не свойственно было А. А. и, проявляемое другими, не располагало его в свою пользу. Есть, очевидно, уровень душевной высоты, начиная от которого обычные человеческие добродетели перестают быть добродетелями. Недаром в демонологии Блока столь устрашающую роль играют «испытанные остряки»: их томительный облик, наряду с другими гнетущими явлениями, предвещает пришествие Незнакомки в стихах и в пьесе того же име-

ни. Представить себе Блока острословящим столь же трудно, как и громко смеющимся. Припоминаю — смеющимся я никогда не видел А. А., как не видел его унылым, душевно опустившимся, рассеянным, напевающим что-либо или насвистывающим. Улыбка заменяла ему смех. В соответствии с душевным состоянием переходила она от блаженно-созерцательной к внимательно-нежной, мягко-участливой; отражая надвигающуюся боль, становилась горестно-строгой, гневной, мученически-гордой. Те же, не поддающиеся внешнему, мимическому и звуковому определению, переходы присущи были и его взору, всегда пристальному и открытому, и голосу, напряженному и страстному. Но в то время, в годы, когда создавалась «Нечаянная Радость», и улыбка, и взор, и голос запомнились мне светлыми и спокойными. Магическое таилось в тайниках души, не возмущаемое соприкосновениями со стихиями жизни. «Так. Неизменно все, как было» — эти стихи записал мне в альбом А. А. в конце 1906 года, объяснив, что в них ответ на мои смутные, вновь и вновь высказываемые опасения измены...

<...>

---

Личные обстоятельства надолго затем отвлекли меня от литературной жизни, и с 1909 по 1913 год встречи мои с Блоком были редкими и случайными. С неослабевающим интересом встречая каждое его новое слово, издали следя за его жизнью, храня к нему благоговейную любовь, я уклонялся в то время, в силу тягостного своего душевного состояния, от непосредственной близости с А. А. и с мучительным чувством отклонял при встречах его дружеские приглашения. Помню его за эти годы в различных обликах. Ранней весной 1909 года встретился он мне на Невском проспекте с потемневшим взором, с неуловимой судорогой в чертах прекрасного, гордого лица и в коротком разговоре сообщил о рождении и смерти сына<sup>14</sup>, чуть заметная пена появлялась и исчезала в уголках губ. На первом представлении «Пеллеаса и Мелизанды»<sup>15</sup> сидел он в партере рядом с женою, являя и осанкою, и выражением лица, и изяществом костюма вид величия и красоты; в цирке Чинизелли, в зимнем пальто и в каракулевой шапке, наклонялся к барьеру, внимательно всматриваясь в движения борцов; и — припоминаю смутно — видел я его в угарный ночной час, в обстановке перворазрядного ресторана, в обществе приятеля-поэта, перед бутылкою шампанского; подносил ему розы и чувствовал на

себе его нежную улыбку, его внимательный взор... Так продолжалось до 1914 года, когда тяжелая нервная болезнь разлучила меня с Петербургом — и с Блоком.

В санатории под Москвою, в июне 1914 года, получил я, в ответ на письмо и на стихи, посланные Блоку<sup>16</sup>, письмо из с. Шахматова, ценное для меня по силе дружеского сочувствия и показательное в отношении душевного склада автора. Привожу это письмо в части, представляющей общий интерес:

«Письмо Ваше почти месяц лежит передо мной, оно так необычно, что я не хочу даже извиняться перед Вами в том, что медлю с ответом. И сейчас не нахожу настоящих слов. Конечно, я не удивляюсь, как Вы пишете, что Вы лечитесь. Во многие леченья, особенно — природные, как солнце, электричество, покой, морская вода, я очень верю; знаю, что, если захотеть, эти силы примут в нас участие. Могущество нервных болезней состоит в том, что они прежде всего действуют на волю и заставляют перестать хотеть излечиться; я бывал на этой границе, но пока что выпадала как раз в ту минуту, когда руки опускались, какая-то счастливая карта; надо полагать, что я втайне даже от себя самого страстно ждал этой счастливой карты.

Часто я думаю: того, чем проникнуто Ваше письмо и стихи, теперь в мире нет. Даже на языке той эры говорить невозможно. Откуда же эта тайная страсть к жизни? Я Вам не хвастаюсь, что она во мне сильна, но и не лгу, потому что только недавно испытал ее действие<sup>17</sup>. Знали мы то, узнать надо и это: жить “по-человечески”; после “ученических годов” — “годы странствий”...»

Воля к жизни восторжествовала, или выпала, может быть, «счастливая карта». <...>

---

Квартира на Офицерской, небольшая и не загроможденная, как и прежние квартиры. Отличие в том, что перед окнами не двор, не стена, а простор пустынной набережной Пряжки, и днями бьет в окна яркий солнечный свет. Тихо, и спокойно, и величаво, и передо мною все тот же светлый, с пристальным взором, с приглушенным голосом, Блок. Годы прошли над ним; бури жизни обветрили прекрасное лицо; гибельные пожары опалили чело заревом; но в открытом взоре — холод и свет алмазного сердца.

По свежему следу пережитого беседа вступает в область болезней души — и странным образом переплетается с темами войны. Может быть, потому, что мысли о войне и тяжкие предчувствия свойственны были мне и таинственно связаны с моею болезнью, и никто явственнее, чем Блок, не чувствовал связи между стихиями, потрясающими мир, и бурями, волнующими душу. И в начале 1915 года, и в дальнейшем, вплоть до 1917 года, отношение Блока к военным событиям нельзя было назвать иначе как безличным — не в смысле безразличия, а в смысле признания за ними свойств стихийных, поглощающих волю. Ни тени одушевления, владевшего — искренно или наигранно — интеллигентным обществом того времени, не проявлял А. А. в этих беседах; с другой стороны, не высказывал он, в сколько-нибудь определенной форме, активно отрицательного отношения к происходящему. В разговорах того времени, как и в стихах, он поминал Россию, томился по России, ждал ее...

При дальнейших свиданиях, нередких в 1915 году, попытки мои определить в нем личное чувство, сколько-нибудь близкое к гражданскому в действительном смысле этого слова, встречали неизменный неуспех. Переживая войну как грозу, томимый еще более грозными предчувствиями, он исключал свою волю из сферы действующих сил и лишь напряженно прислушивался к голосам стихии. В дни, когда знамения были, казалось, благоприятны, темнел он душою и ждал иного. Мне не забыть светлого воскресного дня, в кабинете на Офицерской, когда прочитал он стихи, которыми начинается «Седое утро»: «Будьте ж довольны жизнью своей, — тише воды, ниже травы...»<sup>18</sup> — глухо и угрожающе, подавляя волнение, произносил он, и когда, пораженный безысходностью отчаяния этих строк, я выразил изумление, он пояснил, помолчав: «Тут отступление на заранее подготовленные позиции...»

С той поры, при каждом свидании — на Офицерской, у меня дома и во время частых прогулок по окраинам Петроградской стороны, где в 1915—1916 годы любил бродить А. А., беседа неизменно начиналась «о России». Признаки упадка, ставшие для меня очевидными, встречали со стороны А. А. то безличное отношение, которое на первый взгляд казалось «нигилистическим» и за которым чувствовалась безграничная, жестоко подавляемая жалость и упорная вера в неизбежность единственного, крестного пути. Построения прогрессивных умов и вся психика входившей тогда в силу интеллигенции были глубоко чужды А. А.; помню, с интересом и сочувствием слушал он на прогулках мои полшуточные стихи на эти темы и скорбел о невоз-

возможности их напечатать. Резкое несходство наших взглядов на некоторые вопросы теряло свою остроту. Более понимающего собеседника я не встречал. Аргументация Блока основывалась на общности чувств; доводы, смутные по форме, извлекались с каким-то творческим напряжением из глубины того же чувства и, будучи для логики отнюдь не убедительными, открывали новые области восприятия и понимания.

Петроградская сторона была в то время излюбленным местом прогулок Блока. Часто встречал я его в саду Народного дома; на широкой утоптанной площадке, в толпе, видится мне его крупная фигура, с крепкими плечами, с откинутой головой, с рукою, заложенной из-под отстегнутого летнего пальто в карман пиджака. Ясно улыбаясь, смотрит он мне в глаза и передает какое-либо последнее впечатление — что-нибудь из виденного тут же, в саду. Ходим между «аттракционами»; А. А. прислушивается к разговорам. «А вы можете заговорить на улице, в толпе, с незнакомыми, с соседями по очереди?» — спросил он меня однажды и не без гордости добавил, что ему это в последнее время удается.

Тут, в Народном доме, убедился я как-то, что физическая сила А. А. соответствует его внешности. Подойдя к пружинным автоматам, стали мы пробовать силу. Когда-то я немало упражнялся с тяжестями и был уверен в своем превосходстве; но А. А. свободно, без всякого напряжения, вытянул двумя руками груз значительно больше моего. Тут же поведал он мне о своем интересе к спорту и, в частности, о пристрастии к американским горам. Физической силой и физическим здоровьем наделен он был в избытке и жаловался, как-то, на чрезмерность этих благ, его тяготящую.

Заходя по вечерам в кафе Филиппова на углу Большого пр. и Ропшинской ул., нередко встречал я там за столиком А. А. Незатейливая обстановка этого уголка привлекала его почему-то, и он, вглядываясь в публику и прислушиваясь к разговорам, подолгу просиживал за стаканом морса. «Я ведь знаю по имени каждую из прислуживающих девиц и о каждой могу рассказать много подробностей, — сказал он мне однажды. — Интересно». Посидев в кафе, ходили мы вместе по Петроградской стороне, и, случалось, до поздней ночи. Запомнился мне теплый летний вечер, длинная аллея Петровского острова, бесшумно пронесшийся мотор. «Вот из такого, промелькнувшего когда-то мотора вышли “Шаги Командора”, — сказал А. А. — И два варианта» («С мирной жизнью покончены сче...»)

и «Седые сумерки легли...»). И прибавил, помолчав: «Только слово мотор нехорошо, — так ведь говорить неправильно»<sup>19</sup>.

Жизнь, неотступная, предъявила свои требования и к Блоку. Уже за несколько дней до призыва сверстников — ратников ополчения, родившихся в 1880 году, А. А. начал волноваться и строить планы, ничего, впрочем, не предпринимая. Со мною он делился опасениями, и я, с жестокостью и требовательностью человека, поклоняющегося, в лице Блока, воплощенному величю, предлагал ему единственное, что казалось мне его достойным: идти в строй и отнюдь не «устраиваться». Возражения А. А. были детски беспомощны и не обоснованы, как у других, принципиально... «Ведь можно заразиться, лежа вповалку, питаясь из общего котла... ведь грязь, условия ужасные... Я мог бы устроиться в \*\*\* дивизии, где у меня родственник, но... не знаю, стоит ли»<sup>20</sup>. Так длилось несколько дней, и настал срок решиться.

«Мне легче было бы телом своим защитит вас от пули, чем помогать вам устраиваться», — полушутя, полусерьезно говорил я А. А. «Видно, так нужно, — возражал он. — Я все-таки кровно связан с интеллигенцией, а интеллигенция всегда была “в нетях”. Уж если я не пошел в революцию, то на войну и по-давно идти не стоит».

Я познакомил А. А. с инженером К<лассеном>, видным деятелем Союза Земств и Городов по организации инженерных дружин, и в последний момент А. А., за невозможностью подыскать что-либо более подходящее, был зачислен в табельщики и направлен на фронт.

Письмо А. А., сообщающее об этом и помеченное 8 июля 1916 года, кратко; вот оно:

«Вчера я зачислен в табельщики 13-й инженерно-строительной дружины и скоро уеду. Пока только кратко сообщаю Вам об этом и благодарю Вас. Что дальше — не различаю: “жизнь на Офицерской” только кажется простой, она сплетена хитро».

---

В военной форме, с узкими погонами «земсоюза», свежий, простой и изящный, как всегда, сидел Блок у меня за столом весною 1917 года; в Петербург он вернулся при первой возможности, откровенно сопричислив себя к дезертирам<sup>21</sup>. О жизни в тылу позиций вспоминал урывками, неохотно; «война — глупость, дрянь...» — формулировал он, в конце концов, свои впечатления. На вопрос, трудно ли ему приходилось, по должнос-

ти табельщика, с рабочими дружины, отвечал, что с рабочими имел дело и раньше, когда перестраивал дом у себя в имении, и что ругаться он умеет. (Едва ли, конечно, нужно это понимать в буквальном смысле. Помню, как, по его словам, «ругался» он в 1920 году по телефону, когда, дав согласие на участие в вечере и подготовившись к выступлению, так и не дождался обещанного автомобиля: брань его состояла в попытке истолковать организаторам вечера, что такое обращение с художником «возмутительно».)

Надо надеяться, что «военный» период жизни Блока будет освещен кем-либо из близко его наблюдавших<sup>22</sup>. В то время, весной 1917 года, Блок всецело отдался новому потоку. Творческие силы художника, казалось, дремали. Личные неудобства, и тогда уже ощутительные, мало смущали его. Так, рассказывал он мне, что, сидя на скамье на одном из московских бульваров, показался он подозрительным двум солдатам; один пожелал арестовать его; другой сказал, подумав, что — не стоит, и оба ушли. Об этом случае А. А. вспоминал с мягкой и сочувственной улыбкой.

Тогда же поступил он на службу в Высшую следственную комиссию, занятую разбором дел представителей бывшего правительства; насколько знаю, он заведовал редакцией стенографических отчетов и лично присутствовал при допросах министров. С этого года вообще появился Блок «на людях» и стал встречаться, по долгу службы, с представителями «здорового смысла». <...>

Много, однако, прошло времени, прежде чем угасла, затлевая и вновь вспыхивая, прекрасная жизнь. Гордое и холодное лицо не отражало внутренней борьбы; усталость никому о себе не заявляла. А тогда, в 1917 году, переходил он, собрав последние силы, от «заранее подготовленных позиций» в тылу в безнадежное наступление.

Помню первые месяцы после Октябрьского переворота, темную по вечерам Офицерскую, звуки выстрелов под окнами квартиры А. А. и отрывочные его объяснения, что это — каждый день, что тут близко громят погреба. Помню холодное зимнее утро, когда, придя к нему, услышал, что он «прочувствовал до конца» и что все совершившееся надо «принять». Помню, как, склонившись над столом, составлял он наскоро открытое письмо М. Пришвину, обозвавшему его в одной из газет «земгусаром», что почему-то больно задело А. А.<sup>23</sup> И, наконец, вспоминаю холодный и солнечный январский день, когда прочел я в рукописи только что написанные «Двенадцать».



В те дни хранил он, как всегда, внешнее спокойствие, и только некоторая страстность интонации обличала волнение. Круг его знакомств, деловых и дружеских, расширился и изменился; завязались отношения с представителями официального мира в лице новой художественно-просветительной администрации. Комиссариат по просвещению вовлек его в сферу своей деятельности; вначале готовился он принять деятельное участие в грандиозном плане переиздания классической русской литературы, а затем начал работать в Театральном отделе, в должности председателя Репертуарной секции. Литературное пристанище обрел он в то трудное время в левозэсеровских изданиях; были дни, когда идеология этой партии (к которой он, впрочем, никогда не принадлежал) и даже терминология ее держали его в своеобразном плену<sup>24</sup>. «Подавляющее большинство человечества состоит из правых эсеров», — сказал он мне однажды, разумея под меньшинством эсеров левых. В дальнейшем увлечение это прошло, и лишь к многочисленным группам и кастам, претендующим на близость к Блоку, прибавилась в истории общественности еще одна.

<...>

---

Последние годы, как отметил я выше, жил А. А. «на людях». Начав с работы в Театральном отделе, посвятил он затем много времени и сил «Всемирной литературе», где до последних своих дней состоял членом коллегии экспертов; председательствовал в совете по управлению Большим драматическим театром, входил в состав правления Союза писателей и других литературных организаций, основал петроградское отделение Союза поэтов и долгое время в нем председательствовал.

Работу в Репертуарной секции Театрального отдела вел он на первых порах энергично, вкладывая в нее присущие ему внимание и добросовестность; в дальнейшем, однако, отстранился от председательствования в секции, а затем и вовсе порвал связь с Театральным отделом. С этим периодом (конец 1918 и начало 1919 года) связано у меня воспоминание об исполненной, по поручению А. А., работе по переводу для Театрального отдела трагедии Грильпарцера<sup>25</sup>. От начала моего труда и до его завершения входил он во все подробности, давал указания и, по окончании работы, немало потратил усилий на преодоление препятствий канцелярского свойства, связанных с оплатой труда.

В качестве члена коллегии «Всемирной литературы» и редактора Гейне привлек он меня в конце 1918 года к переводу гейневской прозы и стихов, а затем и к редакционной работе<sup>26</sup>. Изумительны и беспримечны тщательность и четкость, которые вкладывал он в свой редакторский труд; работа, на которую многие и многие из профессиональных литераторов смотрят преимущественно с точки зрения материальной выгоды, поглощала его внимание целиком. Поручив мне перевод «Путевых картин», он начал с того, что сам перевел до десяти страниц, читал их вместе со мною, внимательно прислушиваясь к моим замечаниям и вводя поправки; получив от меня начало перевода, просмотрел его, исправил и потом читал мне вслух, входя в обсуждение всех мелочей, придумывая новые и новые варианты, то и дело обращаясь к комментариям и справочным изданиям. Ряд хранимых мною писем делового свойства, посвященных переводам Гейне, является живым свидетельством редакторской заботливости Блока.

Нельзя не подивиться и той чисто внешней аккуратности, которою облакал он будничный литературный труд. С чувством смущения вспоминаю, как, сдав А. А. груды наскоро сложенных листов, получал я их тщательно сброшюрованными рукою А. А., снабженными необходимыми пометками, перенумерованными и приведенными в полную типографскую годность.

Становится до конца понятно поговорка об аккуратности — вежливости королей, когда думаешь об А. А. Не знаю случая, когда бы обращение к нему, письменное или устное, делового или личного свойства, осталось без ответа, точного и исчерпывающего. «Забывать» он не умел; но, не полагаясь на поразительную свою память, заносил в записную книжку все, что требовало исполнения. В обстановке работы соблюдал порядок совершеннейший. Помню, как удивился я, когда, весною 1921 года, говоря со мною о моих стихах, открыл А. А. ящик шкапа и достал оттуда тщательно перевязанный пакет, помеченный моей фамилией; в пакете оказались, подобранные в хронологическом порядке, все мои письма и стихи, когда-либо посылавшиеся А. А., от начала нашего знакомства. Не без чувства удовлетворения пояснил он, что такого порядка держится в отношении всех своих корреспондентов и что порядок этот сберегает много времени и труда. Наблюдал я в А. А. и высшее проявление аккуратности, когда свойство это, теряя свой целевой смысл, становится как бы стихиею человеческого духа. В 1921 году, в дни, когда денежные знаки мелкого достоинства обесценились окончательно и в буквальном смысле слова валялись под нога-

ми, вынул он однажды, расплачиваясь, бумажник и, получив пятнадцать руб<лей> сдачи, неторопливо уложил эту бумажку в назначенное ей отделение, рядом с еще более мелкими знаками. Труд, затраченный на эту операцию, во много крат превышал ценность денег; это знал, конечно, А. А., но, верный себе, не расценивал своего труда.

Весною 1920 года А. А. стал во главе образовавшегося в Петербурге отделения Всероссийского союза поэтов. Отвлекаемый разнообразными обязанностями и делами общественного и литературного характера, он все же немало времени уделял, поначалу, новой художественно-профессиональной организации; дав Союзу свое имя как председатель, он добросовестнейшим образом пытался выполнять председательские обязанности: посещал заседания, измышлял способы материального обеспечения членов Союза, организовывал вечера и в качестве рядового члена выступал как на этих вечерах, так и в частных собраниях Союза. Однако ни имя Блока, ни труды его не сообщили Союзу единства, не спаяли в одно целое разнообразного состава членов; невозможность творческой работы, обусловленная рядом сложных причин, чувствовалась слишком явно, и к концу года А. А., тяготясь доставшейся ему задачей, высказывался за ненужность Союза и пытался отказаться от председательской должности. Торжественная депутация, в составе почти всех членов Союза, во главе с покойным Н. С. Гумилевым, прибыла на квартиру к А. А. и почти силою вынудила у него согласие на дальнейшую деятельность. А месяца через два-три случайное, наскоро собранное собрание поэтов большинством пяти голосов против четырех переизбрало президиум и забаллотировало Блока — факт, ни в малой степени, конечно, не обидный для памяти А. А., но показательный для нашего времени. А. А. принял известие о низложении своем «безлично», хотя отнюдь не равнодушно. «Так лучше», — сказал он. Близкие ему люди из состава Союза не сочли нужным, из уважения к А. А., добиваться отмены импровизированных выборов, а Союз, освободившись от нравственного воздействия возглавлявшего его имени, покатился по уклону и в недавнем времени ликвидировал свои дела, породив жизнеспособное кафе<sup>27</sup>.

1917—1921 годы вывели Блока как поэта из его творческого уединения, и тысячи людей пересмотрели и прослушали его с высоты эстрады. Впервые после революции выступил он в Те-

нишевском зале, весной 1917 года, а затем неоднократно появлялся на эстраде перед публикою, вплоть до последнего своего в Петербурге выступления — в Малом театре<sup>28</sup>. Готовясь к чтению, незадолго до выхода, начинал он проявлять признаки волнения, сосредоточивался, не вступал в разговоры и ходил по комнате; потом быстро выходил на эстраду, неизменно суровый и насторожившийся. Не я один поражен был, на вечере в Тенишевском зале, подбором стихов, исключительно зловещих, и тоном голоса, сумрачным до гневности. «О России, о России!» — кричали ему из публики, после стихов из цикла «Пляски смерти». «Это всё — о России!» — почти гневно отвечал он.

Здесь уместно будет припомнить, хотя бы кратко, суждения А. А. о поэзии и о поэтах, какие мне довелось слышать от него в разное время и по разным поводам. Сколько-нибудь длительных бесед на темы литературные А. А. избегал — отзывы его носили характер отрывочный и, за редкими исключениями, бесстрастный. Плененности чужим творчеством я не наблюдал в нем, — может быть, потому, что познакомился с ним в годы, когда известные литературные влияния сыграли формирующую свою роль и гений поэта утвердился. Замечания его были подчас неожиданны и логически не убедительны; значение их становилось ясным лишь в сочетании с сокровеннейшими его мыслями о художественном творчестве. Одно для меня остается, в итоге, несомненным: всяческое литературное мастерство, все формально-поэтическое вызывало в нем отрицательное чувство. С самым понятием поэзии, с самым наименованием «стихи» мирился он лишь условно. Похвалив однажды стихотворение, мною прочитанное, тут же добавил он, что «это почти уж не стихи»; а когда, много лет тому назад, жаловался я, что стихи не пишутся, он, утешая меня, убежденно заявил, что можно не писать стихов и быть все-таки поэтом. <...>

---

Суровый и насторожившийся, — иногда с тучею гневности на опаленном лбу, с постепенно углубляющимися складками в углах твердого и нежного рта, — вспоминается мне Блок за последние годы. Реже и реже освещалось улыбкою гордое лицо. Поразительны и непостижимы те чисто формальные изменения, которые приходилось мне наблюдать по временам в чертах лица А. А. Мимика, в смысле произвольных и рассчитанно-согласованных движений лицевых мускулов, вовсе не присуща

была характеру Блока; лицо оставалось поверхностно спокойным. Но, выходя из «фокуса» своего, менял он наружность, как никто. Древнее становилось лицо, глуше его окраска; удлинялся, казалось, нос и выделялись неожиданно крупные уши; и опять, в светлый миг, стремительно молодедел он, и божественная улыбка приводила черты лица в гармонию.

Таким юным, и сильным, и радостным вспоминается он мне на вечере Народной комедии, осенью 1920 года, в Народном доме<sup>29</sup>. Искренне воодушевленный успехом, сопровождавшим игру участников, и в том числе Л. Д. Блок-Басаргиной, входил он опять в жизнь, вникал в ее легкие и томительные мелочи, дышал впечатлениями виденного; даже об умирающем Союзе поэтов говорил с живостью и делился своими планами. Наиболее явственно отражалось его настроение в походке. В моменты подъема душевного становилась она необычайно легкой и упругой. Из сумрака памяти встает передо мной давний, юный Блок: вижу его в фойе театра; стремительно проходит он — как бы несется, как бы летит, не касаясь пола, через переполненный зал, рука об руку с спутницей. Воздушный плащ ее развевается, откинутый назад в неудержимом движении, а сам он — как архангел, влекомый светлою силою...

И опять другим, благодушным и детски простым, припоминается мне Блок в спокойные вечерние часы, за стаканом чаю, после напряженной, ставшей необходимою, беседы на общественные темы. Удовлетворяя любопытству моему и моей жены, характеризует среду артистов; с которой, по должности председателя театрального совета, приходится ему соприкасаться; с почтительностью не искушенного в делах жизни человека отзывается об их успехах на материальном поприще; напившись чаю, улыбается, уподобляя себя, по убогостям и полноте облика, некоему заслуженному артисту. Потом, вспомнив о посещении театра высокопоставленным лицом<sup>30</sup>, оживляется и, засунув руку в карман пиджака, быстро идет вдоль стены, наглядно изображая торопливую походку государственного человека. Что-то детски благодушное во всех словах и движениях. Это детское проявляется порою в форме непосредственной: трогательно и необыкновенно мягко звучит «мама» и «тетя» в устах сорокалетнего человека, — а между тем только так и говорил он о своих близких, даже в кругу случайных и малознакомых людей. И неожиданно, по-детски, реагирует он, в разговоре со мною, на властный характер поэта Г<умилева>: «Не хочется иногда читать стихи, а он заставляет...»

Чистота и благородство сопровождают в памяти моей образ Блока до последних дней его жизни. Имея недоброжелателей, сам он, поскольку наблюдал я его, вовсе не знал чувства недоброжелательства (характерен в этом отношении отзыв В. Розанова — как отнесся Блок к его резким выпадам<sup>31</sup>). Чувства, отдаленно даже напоминающие злопамятство, были ему чужды. Случайно пришлось мне быть свидетелем его разговора с издателем Г<ржебиным>, просившим А. А. высказаться о достоинствах поэта N, книгу которого он имел в виду издать. «Это поэт подлинный. Конечно, издавайте...» — не колеблясь, сказал А. А. о человеке, не подававшем ему в то время руки<sup>32</sup>.

Излишне сентиментальным не был Блок в житейских и даже в дружеских отношениях и не на всякую, обращенную к нему, просьбу сочувственно отзывался. Но, приняв в ком-либо участие, был настойчив и энергичен и доброту свою проявлял в формах исключительно благородных. Поскольку дозвоительно говорить в этом очерке о себе, должен сказать я (как и многие, вероятно), что обязан А. А. безмерно многим. Не ограничиваясь душевным участием в литературных моих замыслах и трудах, делал он, в особенности в последние годы, все возможное для устройства моего материального благополучия на этом поприще. Письма А. А. ко мне последнего времени содержат, почти каждое, упоминание о тех или иных его шагах в этом направлении. В них — подробные сообщения о ходе предпринятых им переговоров, искренняя радость по поводу удачи, тревога и сочувственная грусть в случае неуспеха. Перечитываю их с чувством вины и благодарности.

В начале 1919 года заболел я сыпным тифом и в тифу заканчивал срочную литературную работу. Узнав о болезни, А. А. прислал жене моей трогательное письмо с предложением всяческих услуг; сам в многочисленных инстанциях хлопотал о скорейшей выдаче гонорара; сам подсчитывал в рукописи строки, как сказали мне потом, чтобы не подвергнуть возможности заражения служащих редакции, и сам принес мне деньги на дом — черта самоотверженности в человеке, обычно осторожном и, в отношении болезней, мнительном.

У меня хранится копия с письма, посланного А. А. в сентябре 1918 года одному из народных комиссаров, человеку, близкому к литературе. В письме этом, написанном по моей просьбе, А. А. излагает обстоятельства ареста одного из моих знакомых и, высказывая свою уверенность в его непричастности к политике, просит содействия к скорейшему разъяснению дела<sup>33</sup>.

Одно из последних, написанных А. А. писем касается участи писательницы<sup>34</sup>, впавшей в бедственное положение. Заканчивая счеты с жизнью, А. А. не уходил до конца в себя и тревожился о судьбе человека, вовсе ему чужого.

---

На глазах у всех нас умирал Блок — и мы долго этого не замечали. Человек, звавший к вере, заклинавший нас: «Слушайте музыку революции!», раньше многих других эту веру утратил. С нею утратился ритм души, но долго еще, крепко спаянная с отлетающей душой, боролась земная его природа. Тяготы и обиды не миновали А. А.; скудость наших дней соприкоснулась вплотную с его обиходом; не испытывая, по неоднократным его заверениям, голода, он, однако, сократил свои потребности до минимума; трогательно тосковал по временам о «настоящем» чае, отравлял себя популярным ядом наших дней — сахаринном, выносил свои книги на продажу и в феврале этого года, с мучительною тревогою в глазах, высчитывал, что ему понадобится, чтобы прожить месяц с семьей, один миллион! «Все бы ничего, но иногда очень хочется вина», — говорил он, улыбаясь скромно, — и только перед смертью попробовал этого, с невероятным трудом добытого вина.

Не забыть мне тоскливой растерянности, владевшей всегда сдержанным А. А. в дни, когда пытался он безуспешно отстаивать свои права на скромную квартиру, с которой он сжился за много лет и из которой его, в конце концов, все-таки выселили. «Относитесь безлично», — не без жестокости шутил я, и он только улыбался в ответ, с легким вздохом.

«Что бы вам выехать за границу месяца на два, на три, отдохнуть, пожить другою жизнью? — сказал я однажды А. А. — Ведь вас бы отпустили...» — «Отпустили бы... я могу уехать, и деньги там есть для меня... в Германии должен получить до восьмидесяти тысяч марок, но нет... совсем не хочется», — ответил он, — а это были трудные дни, когда уходили и вера и надежда и оставалась одна любовь.

Силы душевные постепенно изменяли А. А.; но лишь в марте этого года, после краткого подъема, увидел я его человечески грустным и расстроенным. Необычайное физическое здоровье надломилось; заговорили, впервые внятными для окружающих языком, «старинные болезни»<sup>35</sup>. Перед Пасхою, в апреле 1921 года, жаловался он на боль в ногах, подозревая подагру, «чувствовал» сердце; поднявшись во второй этаж «Всемирной литературы», сел на стул, утомленный.

Многим, я полагаю, памятен вечер Блока в Большом драматическом (б. Малом) театре, 25 апреля 1921 года<sup>36</sup>. Зал был переполнен; сошлись и друзья и недруги, теряясь в толпе любопытных и равнодушных. Необычайная мрачность царила в театре, слабо освещенном со сцены синеватым светом. Звонкий голос К. И. Чуковского, знакомившего публику с Блоком наших дней, звучал на этот раз глухо и неуверенно; чувствовалась торопливость — и даже некоторая тревога. Этого настроения не развеял появившийся на эстраде Блок. Слышавшие его в другие дни знают, что не так, как в этот вечер, переживал он читаемые стихи. За привычной уже суровостью облика не замечалось сосредоточенности и страсти; в голосе, внятном и ровном, как всегда, не было животворящей силы. Читал он немного и недолго; на требование новых стихов отвечал, выходя из боковой кулисы, короткими поклонами и неохотно читал вновь; только выйдя в последний раз к рампе, с воткнутым в петлицу цветком, улыбнулся собравшимся внизу слабо и болезненно.

Через день встретил я его в редакции «Всемирной литературы» — в последний раз в жизни. На вопрос одной из служащих редакции — почему он так мало читал, А. А. хмуро и как-то не по-обычному рассеянно проговорил: «Что ж... довольно...» — и ушел в другую комнату. Мой последний разговор с ним оказался делового свойства: исполняя просьбу знакомой, уезжавшей за границу и мечтавшей об издании чего-либо, написанного Блоком, я спросил А. А., не хочет ли он воспользоваться этим предложением. В выражениях кратких и совершенно определенных А. А. ответил, что — нет, не хочет, что к нему иногда обращаются с такими предложениями и он их неизменно отклоняет.

Перед самою Пасхою уехал А. А. в Москву, где, больной и измученный, выступил в сопровождении К. И. Чуковского в ряде вечеров. Вернувшись в Петербург, слег, по настоянию врачей, в постель «на два месяца», как говорили тогда. О болезни его сразу же распространились слухи различного свойства; родные, в ответ на запросы, на справки по телефону, отвечали в тоне растерянном и все более и более тревожном; личное общение с А. А. было, по свойству болезни, нежелательно.

Последнее полученное мною от А. А. письмо, от 29 мая 1921 года, касается перевода «Германа и Доротеи» и заканчивается словами: «Чувствую себя в первый раз в жизни так: кроме истощения, цинги, нервов — такой сердечный припадок, что не спал уже две ночи».



Письмо коротко; почерк, обычно четкий, обрывист и не вполне ясен; после подписи — черта не ослабевающего и на ложе смертной болезни внимания; просьба передать поклон моей жене...

---

Все, что сопутствовало болезни и умиранию А. А. и что подлечит обнародованию, будет обнародовано его близкими. Мне остается сказать несколько слов о мертвом Блоке.

Я увидел его в шестом часу вечера 8 августа, на столе, в той же комнате на Офицерской, где провел он последние месяцы своей жизни. Только что сняли с лица гипсовую маску. Было тихо и пустынно-торжественно, когда я вошел; неподалеку от мертвого, у стены, стояла, тихо плача, А. А. Ахматова; к шести часам комната наполнилась собравшимися на панихиду.

А. А. лежал в уборе покойника с похудевшим, изжелта-бледным лицом; над губами и вдоль щек проросли короткие темные волосы; глаза глубоко запали; прямой нос заострился горбом; тело, облеченное в темный пиджачный костюм, вытянулось и высохло. В смерти утратил он вид величия и принял облик страдания и тлена, общий всякому мертвецу.

На следующий день, около шести часов вечера, пришлось мне, вместе с несколькими другими из числа бывших в квартире, поднять на руках мертвого А. А. и положить его в гроб. К тому времени еще больше высохло тело, приобретаю легкость, несоразмерную с ростом и обликом покойного; желтизна лица стала густой, и темные тени легли в его складках; смерть явно обозначала свое торжество над красотой жизни.

И — последнее впечатление от Блока в гробу — в церкви на Смоленском кладбище, перед выносом гроба и последним целованием: темнеющий под неплотно прилегающим венчиком лоб, слабо приоткрытые, обожженные уста и тайна неизбытой муки в высоко запрокинутом мертвом лице.

---

С чувством горестным, близким к безнадежности, заканчиваю я строки воспоминаний. Им надлежало бы, по замыслу сердца, стать живым свидетельством отошедшего от нас величия; но — да говорит величие о себе своим единственным, внятным и в веках языком. Тесны пределы земных явлений и скудны

слова; даже человеческое, сквозь восторг и благоговение, бес-  
сильны мы передать.

И — последнее, горькое для меня, как и для многих: было, казалось бы, время и была возможность, за словами, земными и по-земному незначащими, услышать и узнать от него что-то другое, самое нужное, главное; и случалось — напряженное сердце бывало на грани этих единственно нужных восприятий. Но слова обрывались; взор как будто договаривал недоговоренное, а улыбка, нежная и — теперь ясно для меня — всегда горестная, призывала мириться с непостижимостью тайны, той тайны, в которой и есть существо гения и в которую навеки облеклась отныне благословенная тень покойного.

*11 декабря 1921*

